

Московский альбом

«Рассадин, не будь безрассуден! Пусть в восемьдесят седьмом увидимся и порассудим, а также раскинем умом»... Храню новгородную открытку из эстонского Пярну, в прошлом Пернова, где Давид Самойлов прижился в свои последние годы, где им гордились как знатым постояльцем, введя его дом в число объектов, которые принято демонстрировать экскурсантам, и откуда новые власти после вышвырнут его вдову и детей.

Он вообще был щедр на разбрасывание экспромтов — именно на разбрасывание; хвала его другу Юрию Абызову, подбавившему их и наконец собравшему в книжку, озаглавленную «В кругу себя». Озаглавленную забавно, как забавны в ней в ролях комических персонажей и адресатов друзья — Копелев, Козаков, Левитанский, Гердт, Окунджава (кичусь, что трижды мелькнул и я), — и придумано на манер Лилипутии или Швамбрании целое государство, Курзюпия. Со своей историей, литературой и сводом смешных имен как бы эстонского образца; из них по причине их малой пристойности приведу два самых невинных: мужское — Клална Ваас и дамское — Аяна Ваас...

«Он не играл в шахматы, — в предисловии поясняет Абызов, — не любил и не понимал игры в карты и уж тем более в домино. Единственной игровой площадкой у него была область Слова...». Выделяю слово «единственной», имея в виду не только игру.

«Увидимся и порассудим...». Что ж, виделись и в 87-м, и позже, раскидывали умом над неприменной бутылкой, но уже мало нам, вернее ему, оставалось встреч, подступала пора одиночества, которым он тяготился, шутейно взывая к тому же Гердту: «Что ж ты, Зяма, мимо ехав, не послал мне



В м. Москва, 1997. — 8 февр. — с. 4

дита, что под тяжестью знания может позволить себе видимость легкомыслия. Как и напротив: «играю, вольничая, тешусь», по словам другого поэта, — и вдруг выскажусь в этаким роде: «Литература — это не стихотворство, даже не поэзия... а служение, жертва и постоянное обновление сорбонного духа...»

Это — Дзизик? Язык проповедника, словно бывшего, как он сам определял суть искусства: «Смесь небес и балагана»? Но нет, не забыл.

Очень люблю у него одно стихотворение — вряд ли из самых лучших, однако... Да что говорить, люблю — и все тут, впрочем; зная, откуда мое предпочтение. Говорю о зазорной балладе про некоего Фердинанда, который ходил маркитантом с наполеоновским войском, не в строю старой гвардии, свято преданной императору, а сам по себе. Как киллинговский кот. И при всей своей малозначительности, неразличимой с полководчески-государственной высоты, словно бы вызывающе жил наперекор Бонапарту. Плюя на его амбиции. «Бонапарт короны дарит и печет свои победы. Фердинанд печет и жарит офицерские обеды... Бонапарт идет за Неман, что весьма неблагоприятно. Фердинанд девицу Нейман умыкает из-под Гродно». И т. п.

Уже после кончины Самойлова я прочел в посмертно изданной книге его изумительной прозы, что в их роду полагали — по крайней мере предполагали, — будто одна из бабок поэта принадлежала к потомству «Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск». Заметим: или! Но, набросав костюмированный автопортрет, признавшись: «Ах, порой в себе я чую фердинанда».

Можно сказать и иначе: любил, однако крепко не нравились, и Самойлова в свою очередь приводила в ярость не стихотворная инвектива: к ней, между прочим, весьма обидной, он отнесся, как помню, вполне добродушно, а принципиальная «установка» Слуцкого: «Я пишу для умных секретарей обкомов».

Вообще, много лет уже зная мощный и трезвый самоейловский ум, я, читая посмертную книгу «Памятные записки», все-таки поражаюсь, сколь рано пришла эта трезвость, что, в сущности, есть синоним духовной свободы. Неумения и нежелания хоть как-то вписаться в картину официальной поэзии. То есть в конце концов не сумел и Слуцкий, Самойлов же много раньше не пожелал; отсюда нежданный поиск родства не с импозантным, заслуженным воином, а с беспечнейшим маркитантом, чье дело так мало зависит от цвета знамен.

Сравнить себя с такой мелкой сошкой — отнюдь не значит полстать себе. Вот с Александром Сергеевичем Пушкиным Самойлов себя ни за что б не сравнил, если уж даже стихи об ушедших гениях современности он завершил самоуничтожением: «Как нас чествуют и как нас жалуют! Нету их. И все разрешено». Но — присмотритесь к стихам «Пестель, Поэт и Анна», которые не цитирую по причине их хрестоматийности: в этом, в самоейловском, Пушкине проступает та же натура — «фердинандова», то бишь опять же самоейловская. Этому Пушкину лестно, однако же и тоскливо быть в компании Пестеля-декабриста, который слишком уверенно знает, в чем именно состоит польза отечества и долг гражданина.

Когда поэт, как это сделал Самойлов, произносит слово «служение» (помните: «Литература — это не стихотворство...»), он сам выбирает, чему служить. Он, как сказал чтимый Дзизик Николай Глазков, «вечный раб своей свободы». Раб — но своей.

Поэты — не предсказатели. Утверждая противное, мы не возводим их, как нам кажется, в высший ранг, а, наоборот, снижаем и унижаем. Просто судьба талантливого человека, не изменяющего своему таланту, складывается

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАРКИТАНТОВ

даже эхов. Ты проехал близ Пернова, поступив со мной хреново». Но, тяготясь, избрал все же единение: «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив». Или оно, единение, его избрало? Вероятно, и этак, и так. «...К общению, конечно, тянет нас, грешных, — писал он Михаилу Козакову, — но отчасти и по инерции. Можно довольствоваться тремя-четырьмя друзьями. А остальное — факкультатив».

Вот странное вроде бы дело. Среди самоейловских записей есть попытка распределить поэтов советской эпохи по поколениям — всех, начиная от Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, вслед которым он и пошлет свои зачитываемые до конца строки: «Вот и все. Смежили очи гении». Дальше — Тихонов, Заболоцкий, Сельвинский; затем — Твардовский, Павел Васильев, Липкин, Тарковский. И т. д. — вплоть до «полуколонии, которое следа не оставит: Куняев, Шкляревский и им подобные». Всех расписал, но что сказал о солдатах Отечественной, о сверстниках, на кого с уважением поглядывали старики-учителя и с завистью — шедшие следом? «Неполучившееся военное поколение».

Не-по-лу-чившееся? Это они-то?

Конечно, тут и память о потерях, о пустотах на месте, где должны были стать и стоять друзья: Кульчицкий, Коган, Майоров. «Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверье, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья». Так что: «Дукаемся мы с Сережей», то есть с Наровчатовым, одним из уцелевших, «но леса нет, и эха нету».

Дело, однако, не только в этом.

Давид Самойлов был ясен, легкий, бывал озорным не только в своих «закулисных» играх — он грациозно играл и в стихах, исполненных драматизма, например в поэме «Струфиан», исторический фон которой — смерть Александра I и восстание декабристов. Отчасти и потому ему шла домашняя кличка «Дзизик», как его именovali многие, подчас не имея на то ни малейшего права, шла до конца, седому, лысому, полуслепому (он, однако, и тут острит: «Бутылку еще вижу, а рюмку — уже нет»). И все это было... Обманичиво? Опять же — не в этом дело.

Казалось бы, ни с того, ни с сего мне вспомнилась еще одна его дневниковая запись, вернее, целая их череда, начавшаяся в 1975 году непритворной и бескорыстной радостью: «Большое событие. Наконец-то пришел поэт». Обрадовался, прочитав стихи Юрия Кузнецова, ныне глухо ушедшего в тень, а тогда нашумевшего, правда, скорее своим эпатажем (например, извывая кощунственное желание лобызать руки детубийцы леди Макбет или сообщал хладнокровно: «Я пил из черепа отца»).

Опыт пожизненного-повидавшего человека, впрочем, слегка попридерживал ликование: «Если мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Талант, сила, высокие интересы. Но...». Вот именно — но: «...Что-то и темное, мрачное». (Еще бы.) А через четыре года — новое предсказание: «...Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорее всего это буду я».

Как в воду глядел: «Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня... Комплексы. Сальеризм». И ответьте мне — даже те, кто не обладает знанием нравов писательского союза, этого «террариума единомышленников»: как здесь должен прореагировать тот, кто некогда возликовал, обнадежился и оказался обманут и оскорблен? Притом — лично, развязно, по-хамски? Дзизик реагирует как Дзизик: «...Сидел в баре с Юрием Кузнецовым и Шкляревским. Левитанский смотрел на меня осуждающе. А мне было интересно — что это за современный гений». Вот так — «интересно», и точка. Ибо настолько многое понимает, видит, предви-



дову натуру!», поэт устраняет эту неопределенность. Не потому лишь, что сам был из гуляк, мастером выпить и покорить женское сердце, причем о победах его ходили легенды, и когда, помнится, кто-то заметил при Дзизике, что среди его возлюбленных была дочь генералиссимуса, то Зиновий Гердт не преминул добавить: «И это был не Чан Кайши!». Да и из сборника «В кругу себя» можно кое-что почерпнуть, прочтя, скажем, юмористическое примечание автора: «Сталин И. В. (1879—1953) — отец одной знакомой поэта».

За стихотворцами водится подобное генеалогическое самозванство. Пушкин придумал, что его предки были мятежны и родовиты, Денис Давыдов фантазировал, будто его пращуром был Чингисхан, — что ж, чем люди ни хвастаются, какие черты своей натуры ни надеются высветить с помощью родичей полумифических или вовсе мифических. Как бы то ни было, вбрав в предки не героя-солдата, а коллегу брехтовской мамы Куража, Самойлов и тут «сделал свой выбор» — это он-то, достойно прошедший Отечественную и уж там-то, в сугубой реальности, не мечтавший попасть в клан военаторговцев. Но:

Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.

Ведь это ж игровой вариант того же единения, удаления, чем стал и «выбор залива» (какие бы бытовые соображения за ним ни стояли). А в основе всех вариантов, думаю, выбор духовный. Главный. По сути, единственный.

Снова скажу: странно, казалось бы. Да, погибли Кульчицкий и Коган, но, слава Богу, жив (и еще долго был жив) Борис Слуцкий, о ком сам Самойлов говорил как о самом близком ему — среди поэтов — человеке. Меж тем: «Никто не доводил меня до такой ярости, как ты», — сказал Дзизик тот, мало того, посвятив ему неприязненное стихотворение, а самоейловские воспоминания о «друге-сопернике» содержат парадоксальную фразу: «Мы друг другу не нравились, но крепко любили друг

друга». Можно сказать и иначе: любил, однако крепко не нравились, и Самойлова в свою очередь приводила в ярость не стихотворная инвектива: к ней, между прочим, весьма обидной, он отнесся, как помню, вполне добродушно, а принципиальная «установка» Слуцкого: «Я пишу для умных секретарей обкомов».

Вообще, много лет уже зная мощный и трезвый самоейловский ум, я, читая посмертную книгу «Памятные записки», все-таки поражаюсь, сколь рано пришла эта трезвость, что, в сущности, есть синоним духовной свободы. Неумения и нежелания хоть как-то вписаться в картину официальной поэзии. То есть в конце концов не сумел и Слуцкий, Самойлов же много раньше не пожелал; отсюда нежданный поиск родства не с импозантным, заслуженным воином, а с беспечнейшим маркитантом, чье дело так мало зависит от цвета знамен.

Сравнить себя с такой мелкой сошкой — отнюдь не значит полстать себе. Вот с Александром Сергеевичем Пушкиным Самойлов себя ни за что б не сравнил, если уж даже стихи об ушедших гениях современности он завершил самоуничтожением: «Как нас чествуют и как нас жалуют! Нету их. И все разрешено». Но — присмотритесь к стихам «Пестель, Поэт и Анна», которые не цитирую по причине их хрестоматийности: в этом, в самоейловском, Пушкине проступает та же натура — «фердинандова», то бишь опять же самоейловская. Этому Пушкину лестно, однако же и тоскливо быть в компании Пестеля-декабриста, который слишком уверенно знает, в чем именно состоит польза отечества и долг гражданина.

Когда поэт, как это сделал Самойлов, произносит слово «служение» (помните: «Литература — это не стихотворство...»), он сам выбирает, чему служить. Он, как сказал чтимый Дзизик Николай Глазков, «вечный раб своей свободы». Раб — но своей.

Поэты — не предсказатели. Утверждая противное, мы не возводим их, как нам кажется, в высший ранг, а, наоборот, снижаем и унижаем. Просто судьба талантливого человека, не изменяющего своему таланту, складывается

будто сама собой: даже трагедия помогает ему состояться. Видеть. Провидеть.

Судьба Самойлова и начиналась как-то уж очень по-славному образцово. Студентом ушел на фронт — добровольно. Был рядовым, одно время — разведчиком, что отложилось в стихах безупречной солдатской конкретностью. Помню, он рассмеялся, когда я при нем фантазировал насчет известнейших строк Межирова: «Я сплю, положив голову на Синявинские болота, а ноги мои упираются в Ладогу и в Неву». Это ж, импровизировал я, штабной писарь спит, расстелив под собой карту фронта, хотя, разумеется, дело было всего лишь в заимствовании грандиозной образности од XVIII века.

«...И вокруг довольства исчисляет, возлегши локтем на Кавказ», — это Ломоносов об императрице Елизавете. Но вот Самойлов: «А это я на полустанке в своей замурзанной ушанке, где звездочка не устаная, а вырезанная из банки» — ни следа романтического пафоса.

Даже то, что его, опубликовавшего первое стихотворение накануне войны, акkurat в 41-м, долгие годы не пускали в печать, даже это весьма характерно для той части «неполучившегося» поколения, которая оказалась впоследствии наиболее состоятельной в смысле духовном. И сама смерть... Вот как судьба — даже в трагедии — выдерживает стройный сюжет, если ты правильно сделал свой выбор: сама смерть настигла поэта на вечере памяти любимого им Пастернака. «Гердт, — пишет артист Козаков, — услышал за кулисами стук упавшей самоейловской палки и шум там, за кулисами, где сидел Давид Самойлович после выступления в ожидании своего друга, чтобы выпить с ним коньячок».

«Фердинандова натура...»

А выбор — он делается или хотя намечается даже там, где поэт о нем вовсе не думает.

«Помню — папа еще молодой. Помню — выезд, какие-то сборы. И извозчик — лихой, завитой. Конь, пролетка, и кнут, и рессоры... Помню — мама еще молода, улыбается нашим соседям. И куда-то мы едем. Куда? Ах, куда-то, зачем-то мы едем!» «Куда?» — вопрос, ответа на который не знает ребенок, к тому ж огуленный внезапно открывшейся ему Москвой («А вокруг куполо, купола...»), но со временем этот вопрос обнаруживает особый, неожиданный смысл. «Папа молод. И мать молода. Конь горяч. И пролетка крылата. И мы едем, незнамо куда, — все мы едем и едем куда-то».

«Папа» — домашнее, теплое слово, такое же, как и сказанное чуть раньше «мама»; но вдруг — «мать», вдруг скачок из уютной домашности туда, где ни детства, ни мамы, ни папы, ни дома, ни прежней Москвы. Был выезд, стал отъезд — отбытие в то, что называется жизнью, а заканчивается смертью. В область вопросов, на которые так и нет ответов, в область безнадежных утрат: «Зачем живем, зачем коней купаем?.. Зачем, когда так скоро песня спета?.. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая... Но леса нет, и эха нету».

Это, однако, не совсем так. Леса нет, зато есть эхо.

«Всегда тебя слышу»; — написал Самойлов одной из подаренных мне книг. Надеюсь, что — да, и меня слышал, но мы-то уж точно не перестаем тебя слышать, Дзизик. Слышать и слушать порою (в чем ты виноват только своим уходом) едва ль не надрывно, болезненно, сознавая, что вслед за «смежившимися очами» Ахматовой, Пастернаком и Заболоцким ушел Самойлов, — значит, сказанное когда-то: «Нету их. И все разрешено» стало еще справедливее. Расширилось поле вседозволенности.

Будем надеяться: не навсегда.

Станислав РАССАДИН

Рисунки Глеба САЙНЧУКА